

В ближайшем номере журнала «Дружба народов» читатели прочитают пронзительную повесть Юрия Карабчиевского «Каждый раз весной».

«Всем нашим родителям. Во здравие живых и памяти мертвых» — такое посвящение поставил писатель над книгой, которая оказалась его последней исповедью. Обращена она к ушедшей навсегда матери. Читать ее до боли трудно, но и оторваться нельзя. «Не могу понять, как жить в этом мире, где можно жить лишь при одном условии: не имея ни памяти, ни воображения...» — признается автор.

Беда наша или счастье — в том, что мы все помним, и в том, что хотим представить свое будущее лучшим, чем оно складывается сейчас! Скорее всего они неразрывны — наше прошлое, настоящее и будущее, которое мы творим сами. Об этом — повесть. Впрочем, прочтите отрывок из нее. Беспокойная интонация, свойственная Юрию Карабчиевскому, близка сейчас многим.

Оперетта. Подумаешь, какое ругательство. Мы ведь так любили с тобой оперетту, ты передала мне эту любовь, и я благодарен тебе за нее и не испытываю никакой неловкости. Мы любили и оперу, особенно итальянскую, особенно Пуччини, Верди — «Риголетто», «Аида», «Травиата» — как звучали одни лишь названия! (Ты забыл свой отчий дом, бросил ты Прованс родной, где так много светлых дней было в юности твоей...) Помнишь, как здорово пел Лисициан? Какими обильными армянскими слезами увлажнял он этот невдомый нам, а может быть, и ему самому Прованс? Мы любили и драму, конечно: «Любовь Яровая», «Платон Кречет», «Таня», «Так и будет...» Я не комментирую. И не стыжусь. «Три сестры», впрочем, тоже, и «Варвары», и «Месяц в деревне»... «Театр у микрофона» — главная передача, каждый раз отслезленная по программе, выслушанная молча от начала до конца, только переглядываясь, от вступительных аккордов сопровождающей музыки до заключительных. Текст ведущего. Великие голоса: Алексей Дикий, Василий Качалов... Все подробно перечисляемые титулы исполнителей. Ага, дали уже народного. Как сказали? Республик или СССР? Да ты что, он же республики был. СССР, конечно! «Солнечный день на берегу озера. Хозяйка дома, немо-

Юрий Карабчиевский

Каждый раз весной

Культура. — 1993. — 11 сент. — С. 12.

лодая помещица...». Глубокие, серьезные голоса с задушевной вибрацией низких частот. Приемник у нас был замечательный, рижский, а по сути — немецкий: «ВЭФ-супер», а если по-честному — «Телефункен». Наши вывезли целиком германский завод, с документами, приборами и технологией. Огромный динамик с бархатным звуком; зеленый нервный глазок индикатора; но главное — шкала настройки, большая, круглая, светящаяся тремя цветами, с тремя магическими кольцами надписей, заворачивающимися, притягивающимися, тревожащими: «Ливерпуль, Белград, Нью-Йорк, Берлин, Ганновер, Лахти...». Особенно почему-то Лахти!

Теперь не говорят «радиоприемник», говорят «транзистор». Я бешусь, когда слышу. Бешусь и готов объяснять каждому, любому из этой толпы обывателей, будь он хоть доктор философии, академик истории, все равно для нас, радистов, он обыватель, — что транзистор — это всего лишь элемент устройства, активный элемент схемы, не более, что

транзисторов в этой коробочке много — восемь, двенадцать, а то и двадцать, и называть сегодняшний приемник «транзистором» все равно, что вчерашний называть «лампой»... Но каждому не будешь объяснять, да и глупо, да в конце-то концов и какая разница, и черт с ними, если уж так привыкли, пусть говорят, дураки беспросветные...

Замечательный был приемник, теперь таких не бывает. Специальные инженеры-акустики рассчитывали конструкцию деревянного ящика — вот

зовании расположения. Я ведь знал, что потеря твоего расположения мне не грозит ни при каких обстоятельствах, ни после каких обличительных слов. Для тебя же это была бы потеря всего — у тебя ведь больше ничего не было. И вот — с подвохом, с покушкой, с издевкой, радостно уничтожая даже то небольшое, что было мне самому еще дорого, только чтоб вернее уничтожить все дорогое тебе...

Я и сейчас физически ощущаю ту боль свою в сердце, когда уже в недавнее время,

как прочий, и даже, может быть, в чем-то реальной. Черта ли стоит вся наша жизнь и все, что мы делаем вопреки этой жизни, то есть той, какая могла случиться, не будь на свете этой идеальной реальности?.. Ты скажешь: а она ничего и не стоит, вся эта жизнь, твоя ли, другая... Но я не поверю, да и ты так не скажешь, это скажешь не ты, я знаю, кто скажет. Но я не поверю.

Ты поняла, это давний спор, и, начав с одного, я уже механически двигаюсь дальше. И защищаю я в этом споре не

у вас в Ноосфере, на Платоновых небесах, во Вселенском компьютерном банке — эти, уничтоженные, скорее всего, рисунки? Если я скажу: — Уверен, что да! — я совру, потому что ни в чем таком не уверен. Но если я скажу: — Уверен, что нет! — я, понимаешь ли, тоже совру, потому что на самом деле — надеюсь. Я надеюсь, что в том идеальном мире, в котором я, следовательно, существую, есть законы, похожие на те, что действуют в мире вещественном, и главный из них — закон сохра-

дает, что она драма, и не выдает себя за оперу. И она-то как раз меньше всех других рискует своей репутацией. Да, верно, если не дочь в новых перчатках, то уж хотя бы жена в маскарадном костюме. Чужая, обольстительная, муж не узнает, влюблен, волочится (хорошее слово!), все раскрывается, смешно и страшно и страшно смешно. Она прощает, он прощен и поют дуэтом. Глупо? Ни в коем случае! Это не драма, это не опера, никаких претензий, никаких амбиций — они-то как раз остаются там, в драме, в опере, остаются за дураками...

Я это к тому, что ты изначально выбирала себе оперетту как жанр, как образ жизни, соответствующий тебе по внутреннему твоему устройству. А жизнь твоя выстроилась так, что в каждое действие — то в разгар каскада, то в середине арии — вривалась подлинная трагедия и с налету рушила всю гармонию, и тогда все, наверное, оказывалось фальшиво и глупостью, и в первую очередь — ты сама, все твои предыдущие слова и поступки. Это было жестоко и несправедливо не только потому, что несправедлива любая трагедия в жизни любого нормального человека, но еще и потому, что нарушало жанр твоей жизни и не оставляло никакого места твоему природному амплуа. И разве твоя вина, что, едва справившись, ты опять оказывалась там, где была изначально, — в танцах и песнях, в шелках-нарядах, в громких репризах, в откровенно игровом, не подмененном под драму пространстве — времени оперетты.

Ну да, вечная оперетта. Говорим-поем. Юлиан Тувим поэтировал над опереттой: графини, княгини. Отец не узнает ее потому, что она переводела перчатки. Остроумно, конечно, но уж больно просто. И в конце концов — несправедливо, неверно. Глуповатость оперетты не недостаток, а свойство. Глуповатость — не глупость. Что такое дурак? Не тот, кто не слишком умен, а тот, кто пытается выглядеть умным, не имея для этого оснований. Оперетта не утверж-

лет семь назад, а может, и пять, в разговоре с тобой убивая Гайдара, беспощадно, зверски, дотла, до конца, никакой ему зацепки не оставляя, ни малейшей надежды на какую-то дальнейшую, пусть убогую, хромую, но все-таки жизнь... (Потом его, уже без меня, уничтожили публично и окончательно — повторив за стеною все мои слова...). Помню острую свою сердечную боль и твои глаза, полные слез и ужаса. Что и требовалось. Да, что и требовалось. Уничтожение оппозиции. Сладострастие ренегата. Жестокость как замена уверенности, вот, пожалуй, главное. Потому что на самом деле... Нет, я не перечитывал. И не стану, конечно. Дети выросли, внуки будут читать другие книги, и, боюсь, не по-русски... Но ведь есть же то прежнее мое впечатление, не было, а именно есть, как реальность, которую можно и сегодня держать в руках, изучать, рассматривать, поворачивая то тем, то другим боком. Ведь, я думаю, теперь ты не станешь спорить, что придуманный мир реален так же,

столько себя, сколько некую общность, ремесло, цеховое братство. Я-то ладно бы, но ведь тогда же и все. Все, кто был до меня и кто будет после. А это уже невозможно вынести. Это так же, как мысль о собственной смерти, с которой кое-как постепенно свыкаешься, но мысль о гибели всего человечества никогда не вписывается в твоё сознание, будет вечно тебя обдавать бездонным, сжигающим холодом... Так мы устроены, мы должны сохранять надежду, даже когда говорим или пишем о безнадёжности...

Как-то наш младшенький оставил в поезде свои рисунки, полный рулон, возвращался в Москву из деревни. Я тех рисунков не видел, но, говорят, замечательные, даже так говорили, что это лучшее из всей его графики. Он забыл их, оставил, и они, конечно, пропали. Хорошо, если кто-то, найдя, повесил на стенку, а то и выбросить мог, и порвать. Короче, нет их, исчезли. Так вот... Да, ты угадала, я именно к этому. Существует ли где-то там,

И прежде в той, нашей первой, нашей общей жизни никому не приходило в голову тебя изобличать. Как-то все если и не понимали, то чувствовали, что в твоей игре, в твоём притворстве больше искренности и правды, чем в иной прямоте.